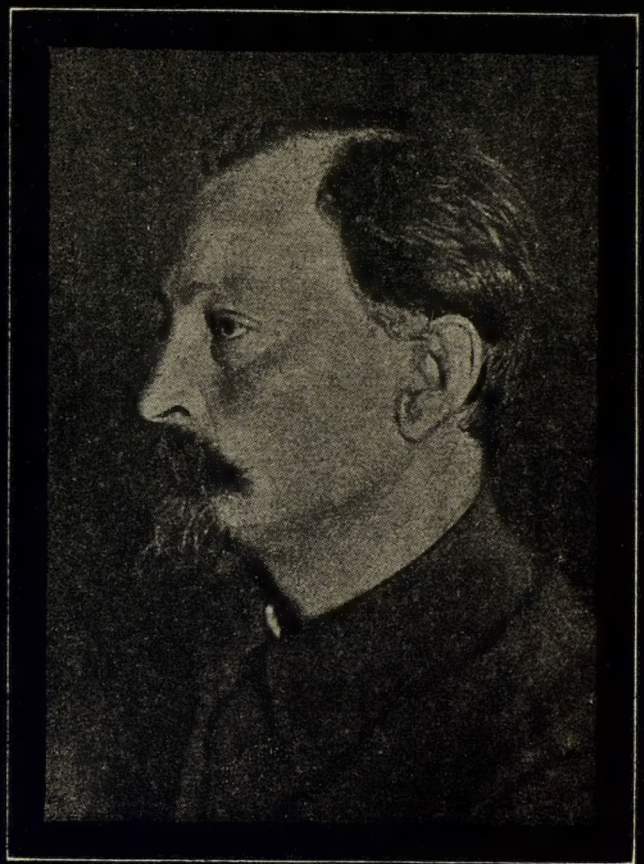
ФЕЛИКС

ДЗЕРЖИНСКИЙ

ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ЕН 292
Д 50 13



Ф. Дзержинский

„Искусство в массы!“

НЕПОВТОРИМЫЕ

Мы в даль наши взоры вперяем
И в пламени новых идей
Сгорая, теряем, теряем
Неповторимых людей.

Не стало вождя-рулевого
И многих не стало бойцов,
И чаще средь дела живого
Мы, сдвинувши брови сурово,
Хороним своих мертвецов.

Но с каждою тяжкой утратой,
Теснее смыкая ряды,
Взрыхляем мы той же лопатой
Нетронутость почвы богатой
Для новой культурной гряды.

Демьян Бедный.

Е1-1242
Д 50

ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ

С предисловием

И. С. УНШЛИХТА

с 8 иллюстрациями

третье издание

значительно дополненное

Изд-во Ассоциации Художников Революционной России
(А Х Р Р)
МОСКВА — 1927 г.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2009

К.

БИБЛ[illegible]КА
Ин-та марк[illegible]низма
при ЦК [illegible]СС

1053552

ЕН242
Д 501з
Р

НАБРАНО И ОТПЕЧАТАНО
В ШКОЛЕ ФЗУ ПЕРВОЙ
ОБРАЗЦ. ТИП. ГОСИЗДАТА
МОСКВА, ПЯТНИЦКАЯ, 71
ГЛАВЛИТ № 89724
ТИРАЖ 3000 экз. Зак. № 2550

Библиотека
Института Ленина
при Ц. К. В. К. П. (б.)
сф 994
24064 27

Центральному Комитету ВКП (б)

Ассоциация Художников Революционной России (АХРР) выражает свою глубокую скорбь об утрате партией и советскою властью тов. Феликса Дзержинского — железного борца, руководителя делом развития народного хозяйства СССР и вернейшего стража завоеваний Октябрьской революции, отдавшего свою жизнь укреплению Советского Союза и советской культуры.

(Телеграмма АХРР'а
ЦК ВКП (б.) 21-VII-26 г.)

Ф. Дзержинский

ПРЕДИСЛОВИЕ

„Я созрел в тюрьме, в муках одиночества, в тоске по миру и жизни. В душе моей никогда не поднималось сомнение в нашем деле. И теперь, когда в потоках крови потоплены на долгие годы все недавние надежды, когда эти надежды прикованы к столбам виселиц, когда многие тысячи бойцов за свободу заключены в тюрьмы или брошены в снежные сугробы Сибири — теперь я чувствую свою гордость. Я вижу эти огромные двинувшиеся массы, поколебавшие основы старого, в недрах которых подготовляются новые силы для новых боев. Я горжусь тем, что я с ними, что я вижу их, сердцем живу с ними. Тут в тюрьме бывает иногда плохо, бывает страшно. А все-таки... Если бы пришлось начать снова жизнь, я бы ее начал так же. Это говорит мне не повеление долга, это — органическая необходимость. Тюрьма дала мне только одно: рабочее дело стало для меня тем, чем дитя для матери, чем-то осязаемым, реальным, под материнским сердцем собственной кровью и плотью лелеянным дитятею, которое мне никогда не может изменить и потому дарит мне непрерывным наслаждением".

Так писал 18 лет назад отрезанный от внешнего мира, за решетками X павильона Варшавской цитадели,

пылающий жаждой борьбы, Феликс Эдмундович Дзержинский.

Так мог написать лишь человек, которого партия, рабочие массы охватывают целиком и полностью, для которого не было жизни вне общения с пролетариатом, который отдал себя безраздельно борьбе за осуществление социализма.

Феликс Эдмундович всегда умел теорию марксизма претворять в революционное дело.

Зная жизнь рабочего класса, его психологию, его переживания, радости и тревоги, обладая редким политическим чутьем, он умел вести массы на смертельный бой со своими классовыми врагами.

Таков Юзеф с первых дней своей революционной деятельности, таков он в тюрьме и на каторге, таков он в революцию 1905 года, февральскую и Октябрьскую, таков он на протяжении 30-летней неутомимой революционной борьбы, таким же остался на ответственных руководящих постах.

Разрушать старое, гнилое, царское, буржуазное, строить новое, здоровое, коммунистическое мыслимо, возможно, осуществимо лишь при активном участии широких рабочих масс—вот основной практический лозунг покойного Феликса.

Под этим лозунгом протекала вся его революционная, вся разрушительная и творческая работа, под этим лозунгом он одерживал победы на всех фронтах.

АХРР, выпуская сборник воспоминаний, посвященных лучшему другу и защитнику рабочего класса, влил новую здоровую струю в творчество художников великой пролетарской революции.

Картины жизни, борьбы, страданий и смерти красочной фигуры революционера-фанатика будут воспитывать, воодушевлять, указывать широкие пути развитию творчества наших художников-борцов.

Только с массами, во имя раскрепощения закабаленных, во имя культурного их развития, во имя коммунизма может жить, крепнуть, развиваться и цвести искусство первого в мире государства диктатуры пролетариата.

Пусть рабочее дело станет для наших художников, повторяя слова Феликса Эдмундовича Дзержинского, „тем, чем дитя для матери, чем-то осязаемым, реальным, под материнским сердцем собственной кровью и плотью лелеянным дитятею“, которое никогда „не может изменить и потому дарит непрерывными наслаждениями“.

Тогда и только тогда наше искусство превзойдет высоты, занимаемые художниками, служащими интересам мира эксплоатации, хищничества и порабощения, только тогда труд и искусство сольются в одно неразрывное целое.

И. С. Уншлихт.

ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ УМЕР

Вчера умер Дзержинский. Загорелся последней пламенной речью, пролил на всех огонь своей бурной души... и сгорел в этом пламени, исчез навсегда, ушел навеки.

Вот, как живой, стоит он на трибуне. Сухой, энергичный, весь точно натянутая струна. Его речь — не речь, а крик ума и сердца, крик бешеной воли и творческой страсти. Каждая цифра звенит этой страстью. Каждое слово, точно пущенная с тетивы острая стрела, вонзается в головы товарищей. Все чувствуют: вот человек, который отдается делу весь, целиком. Его самого для него нет. Он не смотрится в историческое зеркало, как, вероятно, никогда не смотрелся он и в простое зеркало. Он растворился в работе. И эта работа, ее нужды, ее болячки, ее язвы, ее трудности кричат таким разящим криком, убеждают, зовут на помощь, опровергают, требуют...

Странный румянец играет на щеках, то вдруг вспыхивая, то исчезая. Лихорадочно блестят глаза, блестящие внутренним огнем и в то же время такие больные. Лицо — строгое и энергичное — революционного борца, преданного до конца, до гроба (лицо „фанатика" — сказали бы филистеры). Горячая речь, горячая жестикуляция, могучий напор воли... Но, смотрите: что это с ним? Руки как-то

судорожно хватаются за сердце, точно хотят вырвать сосущую боль. И вдруг голос, так страстно, почти экзальтированно звучащий, внезапно спадает почти до полушопота. Капельки пота ползут по лбу, спускаются струйками вниз. „Но ведь так бывает с ним всегда“ — успокаиваешь себя, с мучительной тревогой глядя на любимого верного товарища. А внутренний голос зловеще говорит: „обреченный, обреченный“. И жестокая боль щемит сердце...

С мрачным предчувствием шел я со вчерашнего пленума, прямо после речи Феликса. Уже сказали, что ему стало дурно. Не хотелось беспокоить,— ведь тут нужен абсолютный покой. А роковое предчувствие все росло и росло... И вдруг телефонный звонок: „Дзержинский умер!“

„Дзержинский умер!“ Знали ли вы, друзья и товарищи, этого человека? У нас много было героев, и много есть еще крепких стальных людей в нашей „железной когорте“. Но Дзержинский был в своем роде единственным, и такого у нас больше нет. Точно кипящая лава революции, а не простая человеческая кровь, текла и бурлила в его жилах. Странно представить себе Дзержинского спящим. Почти невозможно представить его себе мертвым. Ибо это был настоящий огонь революции, яркий, как факел, неукротимый, как ураган, испепеляющий, как великая страсть, которая пожирает всё. Кто видел Дзержинского усталым? Кто видел его бездеятельным? Это — вопросы не о Дзержинском. Ибо он, казалось, работал, боролся, кипел всегда, не зная ни отдыха, ни срока. Таково уж было свойство его натуры. „Если я работаю, я работаю весь“,— сказал он в своей последней речи... и умер. И такой работой была вся его жизнь...

Революция требует жертв. И революция целиком взяла Дзержинского. С многолетней каторгой за плечами бросился освобожденный от кандалов Феликс в бурный поток великого семнадцатого года. Все мы помним этого грозного революционного бойца в тот период. Беспощадный к врагам, всегда на посту, Дзержинский *делал дело*, отражая суровой рукой все нападения врагов. Бессонные ночи. Постоянная тревога. Постоянно сжатая сухая и энергичная рука. Вечная бдительность. Громадная ответственность. И в то же время абсолютное отсутствие *позы*, хотя бы и исторической. Никогда Дзержинский не играл ни в какие Дантоны или Мараты. Он был прост, как редко кто может быть прост. Он делал всегда то, что приказывала ему делать партия, которая была ему дороже всего на свете, за которую он жил и за которую он умер. И оттого Дзержинский был — и пребудет — рыцарем без страха и упрека, рыцарем коммунизма, которого не забудут никогда.

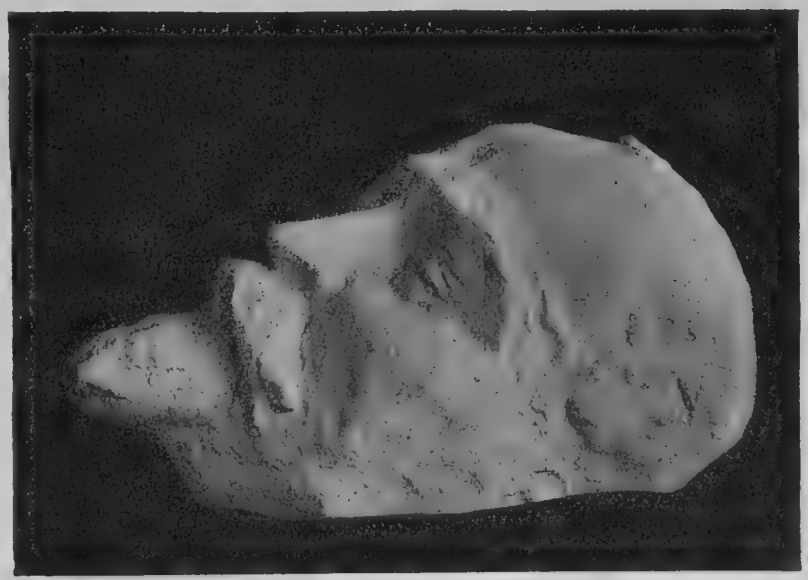
И в Чека, и на транспорте, и на хозяйственной работе, и в партийном Цека, и среди масс — знали Дзержинского, как неподкупного, отважного, непреклонного, кристально чистого, прямого и открытого. Он всегда шел с открытым забралом. Он всегда говорил правду и был суров и по отношению к себе и по отношению к другим, если нужно было быть суровым. Нередко он говорил правду так, как никто не мог бы ее сказать, кроме него. И он имел полное право на это. Он завоевал себе это право всей своей жизнью, жизнью настоящего подвижника революции, для которого революция все: и воздух, и свет, и тепло, и любовь, и сама жизнь.

Бесконечная и безграничная вера в творческие силы пролетарских масс двигала Дзержинским. Она наполняла его всего, она захватывала его целиком. Совершенно цельная натура, Дзержинский шел своей дорогой с необычайной естественной простотой. Оттого он пользовался таким авторитетом, оттого так обаятельна была его личность, оттого его так любили. Совершенно исключительная честность по отношению к *делу* сочеталась в нем с огромным запасом истинно человеческой чуткости к *людям*: этот суровый начальник Чека был, действительно, обаятельной человеческой личностью, прекрасным товарищем каждому, кто шел по тернистому революционному пути...

Не так давно у Дзержинского был „отпуск". Этот „отпуск" состоял в том, что Феликс дни и ночи обследовал положение южных металлических заводов. Из этого „отпуска" Дзержинский приехал еще более больным. Ведь, пожалуй, никто так остро, с такой душевной болью, с такой тревогой не переживал наших недостатков, как этот боец. Он буквально *страдал* из-за каждой, хотя бы самой маленькой, неудачи. Он на каждом шагу опровергал пресловутую „народную мудрость", гласящую, что „своя рубашка ближе к телу". Забота об общем, о великом и малом, грызла его непрерывно и в то же время заставляла его тратить все силы, без остатка, до конца, до какого-то остервенелого перенапряжения. С величайшей добросовестностью берясь за любую работу, Дзержинский забывал о себе начисто. И он сгорел, как факел, освещающий путь к великому будущему человечества.

За нашу партию, за ее единство, за диктатуру нашего класса жил и умер этот замечательный человек. Его главный завет: единство, дружная работа, творчество, борьба. Будет это — будет невиданная победа. С этой мыслью связывается незабываемый образ дорогого товарища. Прощай, наш родной! Прощай, наш верный боец!

Н. Бухарин.



Слепок работы скульптора Б. Д. Королева.

Ф. Э. Дзержинский в гробу.

ВЕЛИКИЙ СТРАЖ РЕВОЛЮЦИИ.

20-го июля в 16 час. 40 мин. скончался председатель ОГПУ и председатель Высшего Совета Народного Хозяйства СССР Феликс Эдмундович Дзержинский.

Встревожилось, взбурлило сердце трудящихся СССР... АХРР, в лице его президиума, созывает 21 июля экстренное заседание, посвященное памяти Феликса Дзержинского, где выносится постановление об организации конкурса среди художников АХРР на написание монументального героического портрета к 10-летнему юбилею Октябрьской революции на тему—„ВЕЛИКИЙ СТРАЖ РЕВОЛЮЦИИ“.

Умер один из тех, натура которых вбирает в себя, концентрирует, суммирует лучшие качества многих людей, массы, а в данном случае — трудящейся массы. Феликс Дзержинский отразил в себе лучшие качества, чаяния и устремления членов многомиллионной пролетарской семьи,— семьи трудящихся: он отразил то, что объединяет их в железной воле к борьбе и победе над врагами трудящихся. Поэтому он — любимец массы, ее вождь, страж ее интересов.

Посмотрим на жизнь Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Три основных этапа пролетарской революции (дооктябрьский период, период завоевания власти и период строительства)— Феликс Дзержинский везде исполняет одну из главных ролей революционного действа.

Угнетение пролетариата, трудящихся загоняет его в подполье,— он неутомимый, бесстрашный борец за их интересы, он один из активных виновников Великого Октября.

Совершился Великий Октябрь, нужно охранять завоевания,— он на „вышке Октября“— верный сторожевой завоеваний трудящихся.

Наступил момент организации жизни трудящихся, момент строительства, он — инициативно-творческий руководитель строительства.

Сторожа интересы миллионов трудящихся, товарищ Дзержинский бросается в бой против угнетения их эксплоататорами, зорко и неутомимо наблюдает за покушениями их врагов на их завоевания и, наконец, укрепляет эти завоевания путем строительства.

Феликс Дзержинский — образ великого сторожевого трудящихся, стимул новых побед, метод для новых побед. Образ монументальный, отчеканенный, героический.

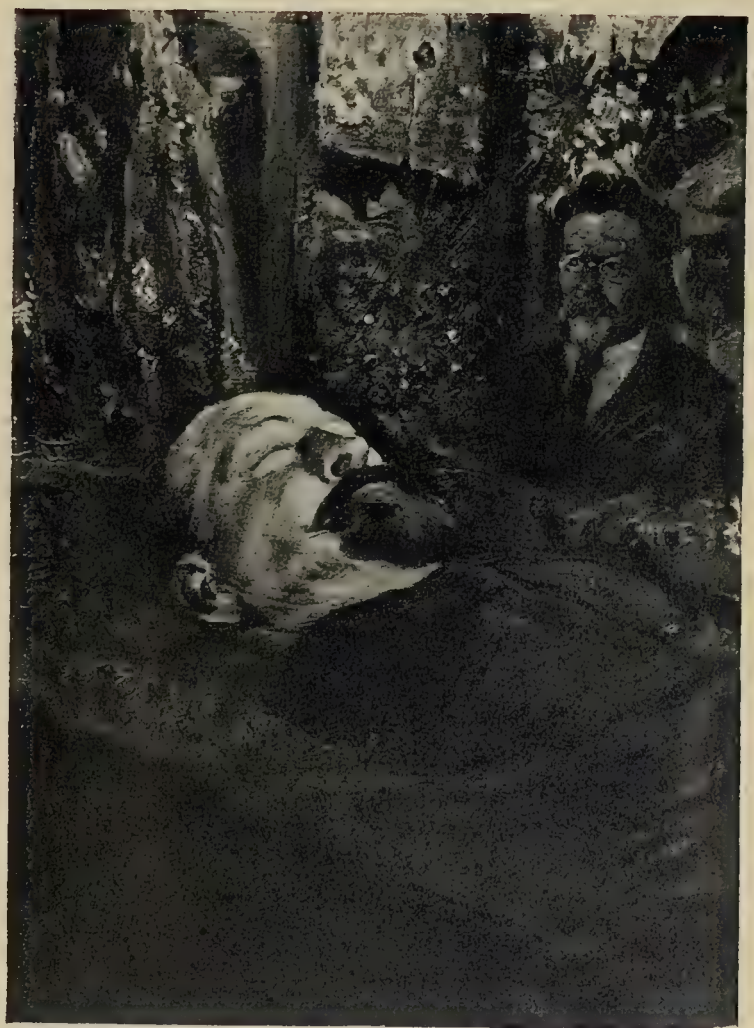
Мы, ахрровцы, должны сейчас в формах стиля героического реализма сделать самую серьезную попытку к 10-летнему юбилею Октябрьской революции, одним из главных виновников коей, повторяю, был Феликс Дзержинский, к своей X выставке — „10 лет борьбы и строительства рабочих и крестьян“, через свое художественное творчество выявить в героическом образе Ф. Дзержинского мысли и чувства трудящихся. Для нас героический образ Ф. Дзержинского есть стимул к исканию стиля героического реализма.

Мы, ахрровцы, — на страже интересов трудящихся через свое искусство. Мы не отказываемся от лестного ярлыка художественной „чеки“, который приклеивает нам белогвардейская эмигрантская пресса под фирмой Милюкова и К-° (см. декабрьские № №1924 г. „Последние Новости“), — ибо всякий, любящий дело пролетарской революции, своей собственной профессией должен делать дело „чеки“, т.-е. сторожить интересы трудящихся, укреплять их.

Изобразительное искусство, как зеркало, как рапорт отражает свершившееся. На X своей выставке АХРР отдаст рапорт о том, что сошел с поста Великого Сторожевого Революции ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ.

А. Григорьев.

Институт ... (б)
1053552
БИБЛ... КА
Ин-та марк... ...зма
при ЦК КПСС



Ф. Модоров. Тов. Калинин у гроба Ф. Э. Дзержинского.

(Уголок памяти Ф. Э. Дзержинского на VIII выставке АХРР).

МЕЧ, МОЛОТ И ВЕЛИКИЙ ОГОНЬ

СТРОИТЕЛЬ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ В ПОЛЬШЕ

Социал-демократия Польши рождена из великих забастовок, охвативших в 90-х годах польские рабочие районы, и из опыта распада полутеррористической, полузаговорщической первой социалистической партии в Польше. „Партия Пролетариата", рожденная в бою с социал-патриотическим течением в 1893 г, скоро подверглась массовым арестам и была полностью разгромлена. Легкость, с которой удалось царской полиции ее разгромить, в значительной мере объяснялась тем, что партия насчитывала в своих рядах очень маленькую горсть интеллигенции. Отсутствие интеллигенции объяснялось ее националистическим характером и ярко антинационалистическим направлением молодой рабочей партии, которая с первого дня своего существования выдвинула лозунг единства и целей борьбы польского и русского пролетариата. Арест Ратинского, Веселовского и других социал-демократических работников и отсутствие прилива новых работников из интеллигенции порвали сеть связей, организацию транспорта и т. п.; рабочие кружки были еще чересчур мало самостоятельны, чтобы их можно было наладить. Уцелевшая за границей группа основателей партии,

Юлиан Мархлевский, Роза Люксембург, Лео Иогихес-Тышка и Аболя Варский, представляли собою группу идеологов, потерявших на известное время непосредственную связь со страной. Эту связь восстановил 23-летний молодой революционер Феликс Дзержинский, бежавший из ссылки. После разгрома 1895—6 года, только в начале 20-го столетия, воссоздается, благодаря его усилиям, марксистская интернационалистская социал-демократия Польши и Литвы. Дзержинский является ее зодчим и остается ее душой в продолжение больше 10 лет. Можно сказать, что социал-демократия Польши и Литвы — предшественник коммунистической партии Польши, как массовая партия, была детищем неутомимых усилий, бесконечного труда Феликса Дзержинского. „Иосиф“,— а под этим именем знали его широчайшие круги польских рабочих,— был самым любимым из вождей.

Высокий, стройный, с горящими глазами, с порывистой, страстной речью,— таким я узнал его осенью 1903 года, когда он приехал на время в Краков, прячась от царских сыщиков и налаживая транспорты воссозданной главным образом по его инициативе социал-демократической польской литературы. Он завоевал любовь и уважение не только в среде стариков, но и у молодежи, вступившей впервые в движение, в глазах которой он был окружен ореолом тюрьмы и ссылки, ореолом лучшего организатора партии. К его мнению прислушивались чутко не только Роза, но и жесткий Тышка, имевший большой организационный опыт, соединявший большое марксистское образование с необыкновенной политической

чуткостью. Во всех практических вопросах движения мнение Иосифа имело почти решающее значение. Откуда взялся его авторитет? Откуда взялся он сам, этот молодой, строгий к себе, строгий к другим, волнующий и увлекающий всех революционер?

Он родился в Литве, в Ошмянском уезде, в семье мелкого польского помещика, в том же самом уезде, в котором на несколько лет раньше родился Иосиф Пилсудский. Литва была тогда прибита воспоминаниями о Муравьеве-вешателе, воспоминаниями о кровавой расправе царизма за 63-й год. В дворянских домах Литвы жила мысль о тех, которых царский сатрап за участие в восстании казнил или сослал в каторгу. Интеллигентская молодежь лелеяла мысль о борьбе с царизмом за независимость страны. Старый штаб польской социалистической партии, созданный в последнем десятилетии XIX столетия, принадлежал в большинстве к молодежи из этих окраинных польских помещиков. Одним из немногих, отказавшихся от пути национализма и вступивших твердым шагом в лагерь международного рабочего движения, был Дзержинский. Это объясняется, по всей вероятности тем, что, происходя из бедной сравнительно семьи, он ближе присмотрелся к крестьянской литовской массе, ближе присмотрелся к жизни маломестечковых ремесленников и почувствовал себя более связанным с ними, чем с дворянством и его идеалами.

В Литве не было фабричного пролетариата. Были еврейские и польские ремесленники, и среди них 16-летним юношей Дзержинский начал свою работу. Необходимость работы и среди польских и еврейских подмастерьев

в стране, в которой крестьянство в большинстве своем было литовским, объясняет международное направление чувств и дум Дзержинского. Он учился социализму на польской и на русской литературе, а для работы среди еврейских рабочих учился по-еврейски. Мы смеялись позже, что в правлении польской социал-демократии, в которой был целый ряд евреев, читать по-еврейски умел только Дзержинский, бывший польский дворянин и католик. Аресты, которым непрерывно подвергался Дзержинский уже в первые годы своей деятельности, позволили ему изучить всю существующую тогда основную литературу социализма, и он вошел в польское движение уже с твердо выработанным мировоззрением. Литература польской социал-демократии, ее орган „Справа Работнича“ (Рабочее Дело“), издававшийся в 1894—5 году в Париже, попали в его руки позже, когда он уже на основе собственного опыта и собственной работы мысли пришел в основном к тем же самым решениям, к которым пришли наши идеологи. Основой его взглядов была русская марксистская литература. Он, можно сказать, был выражением единства польского и русского рабочего движения.

Но значение его для движения состояло не только в твердости его взглядов, но и в непоколебимой революционной решительности, которую он внес в движение. Окраинное польское дворянство, выросшее в борьбе с татарами, а позже в борьбе с литовским и украинским крестьянством, отличалось искони большой энергией. Оно представляло самый решительный тип польской общественности. Дзержинский, впитавший в себя

чуждые этой среде идеи, защищал их с той энергией, с которой польское „крессовое“ (окраинное) дворянство защищало свои классовые интересы. Для Дзержинского не существовало никаких затруднений и никаких поражений, как они не существовали для Скшетуских, Бохунов, Володыевских и других героев окраинного польского дворянства, воспеваемых в польских исторических романах. Опасности существовали только для того, чтобы их преодолевать; поражения—только для того, чтобы, изучив совершонные ошибки, ковать заново меч для новых боев. Но если из дворян, переходящих на сторону революционных классов, создавались в большинстве типы „кающихся дворян“, то сила революционной мысли, овладевшей Дзержинским, позволила ему полностью слиться с рабочим классом, чувствовать себя его неотделимой частью. Он не был человеком, пришедшим к рабочему классу, идеализирующим рабочий класс. Во время своих долгих нелегальных скитаний он жил у рабочих, ел с ними из одной тарелки, спал в одной кровати, знал их со всеми их историческими недостатками, но и со всем великим, что рождает социализм в рабочем классе. Во все моменты опасности он был убежден, что соберет вокруг себя рабочих, которые его не выдадут, что сумеет воссоздать с ними, при помощи их, организацию, что сумеет сколотить снова боевой отряд, который пойдет заново на борьбу, не боясь голода, не боясь холода, не боясь оставить жен и детей, не боясь долгих лет одиночества в каторжной тюрьме Акатуя и в тайгах сибирских. Железо его пролетарской идеи выковалось в этой работе среди рабочих в гибкую сталь и это было то, что

внес Дзержинский в польское социал-демократическое движение.

В нелегальной работе, предшествовавшей 1905 году, этот молодой революционер сделался вождем. Когда октябрьский манифест освободил его из заключения в десятом павильоне варшавской крепости, куда он попал в июле 1905 г. на массовой партийной конференции, организованной им в лесах около Домбия под Варшавой, то никто уже не питал малейшего сомнения, что именно он, Дзержинский, является вождем социал-демократии. В течение нескольких месяцев массого движения до июльского ареста он был пламенем, одушевлявшим всю партию. Кто забудет дни, когда судился военным судом Мартин Каспшак, рабочий созидатель нашей партии, представший перед судом за вооруженное сопротивление при аресте весною 1904 года в тайной типографии? Город, залитый войсками, массовые аресты. Дзержинский с Ганецким печатают в новой тайной типографии прокламации, призывающие к всеобщей забастовке. Дзержинский отправляется через ряды патрулей лично в рабочие районы и переносит прокламации, привязанные к его телу. Высокий, стройный, с орлиным лицом, он проходит с поднятой головою через шеренги солдат и жандармов, обыскивающих всякого прохожего. Жандарм, которому он посмотрел смело в глаза, не решился его задержать. Таким он жил в воспоминаниях варшавских рабочих долгие годы, жил, как легенда о непоколебимом революционере. Когда он попался в Домбе, он заставил товарищей отдать ему все бумаги, которых уже нельзя было уничтожить, чтобы взять на себя всю ответственность. В Домбе арес-

тованных держали под конвоем казаков, но Дзержинский берется немедленно за агитацию среди солдат. Если бы не смена солдат, ему бы удалось подготовить побег.

В качестве организатора после октябрьских событий 1905 г. он, как огонь, движется по всей стране, везде укрепляя связь с центром, везде поднимая боевое настроение, везде создавая глубочайшую уверенность, что партия поведет рабочие массы Польши совместно с рабочими всей России на штурм против царизма. На 2-м съезде русской социал-демократической партии социал-демократия Польши и Литвы не вошла в ряды общей русской организации из-за разногласий по национальному вопросу. После раскола на большевиков и меньшевиков партия больше года колебалась в споре между обеими фракциями. Руководящая идеологическая группа партии, близко связанная с западно-европейским движением, склонялась к организационным идеям меньшевиков, которые казались ей более соответствующими опыту международного рабочего движения, чем организационные идеи Ленина. Дзержинский уже к концу 1903 г. был близок к большевизму. С конца 1904 г., со времени так называемой земской кампании, Дзержинский горячо добивался скорейшего объединения с большевиками. В 1906 г. во всех переговорах с русской социал-демократией он играет решающую роль в делегациях, назначаемых нашим главным правлением. Ленин тогда уже видел в нем ближайшего единомышленника в польской социал-демократии.

Пришли годы контрреволюции. Дзержинский, бежав снова из ссылки, работает бешено в Варшаве над вос-

созданием организации. Намечаются новые вопросы — борьба с ликвидаторами и отзовизмом. Дзержинский занимает непоколебимую ленинскую позицию борьбы на два фронта. Воссоздавая нелегальную организацию, он одновременно упорно работает над созданием легальной социал-демократической печати. В 1912 г. происходит в социал-демократии Польши и Литвы раскол на основе споров части краевых организаций с находящимся за границей идеологическим центром по поводу ряда организационных вопросов. Этот раскол полон жестокой политической и личной борьбы, стоившей всем ее участникам больших страданий, для Дзержинского она представляет сущий ад, ибо, поддерживая основное ядро руководителей польской социал-демократии, он должен был отказаться на известное время от объединения с большевистским центром, от которого политически его ничто не отделяло. Что переживал Дзержинский, оказавшийся незадолго до войны снова за каменными стенами варшавской крепости, а позже—на каторге в Орле, он не любил рассказывать. Крушение II Интернационала, разгром партии после великих ее успехов в период „Правды“, черная ночь, окутавшая все рабочее движение, эхо войны, доходящее к нему через тюремные решетки,— все это не сломило его ни на одну минуту. Февраль 1917 г. застает его снова в боевых рядах большевистской организации неутомимым, полным веры, жажды борьбы за Октябрь. Октябрь встречает его во главе борющихся за свою диктатуру рабочих масс в качестве члена военно-революционного комитета в Петрограде.

Через великие фабричные города Польши, через Лодзь, Варшаву и угольный Домбровский бассейн, через ссылку и каторгу он пришел к путиловцам и обуховцам и во главе их стал в ряды правительства Союза Советских Республик.

МЕЧ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В дни, когда еще шла борьба за Петроград и Москву, Дзержинский создает комиссию для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Выкованный в пятнадцатилетних боях, Феликс Дзержинский поднимает меч революционной решимости на защиту пролетарской революции. Этот меч опускается с ошеломляющей силой на классового врага, когда тот пытается поднять голову. Днем и ночью сторожит неутомимо верный страж революции, ища врага, преследуя его по пятам, хватая его врасплох. Дзержинский создает организацию революционной бдительности так, как когда-то создавал рабочие организации.

Враги наши создали целую легенду о всевидящих глазах ЧК, о всеслышащих ушах ЧК, о вездесущем Дзержинском. Они представляли себе ЧК в качестве какой-то громадной армии, охватывающей всю страну, просовывающей свои щупальцы в их собственный стан. Они не понимали, в чем сила Дзержинского.

Сила Дзержинского была, во-первых, в том, в чем состояла сила большевистской партии — в полнейшем доверии рабочих масс и бедноты, в уверенности, что Дзержинский есть их карающий меч, их бдительный глаз. Каждый рабочий, каждый бедняк считал своим долгом

помогать ЧК в ее великой борьбе защиты революции. ЧК — это не только были штаты мужественных чекистов, ЧК — это была многомиллионная рабочая масса, бдительная и доносящая о каждом движении врага. Кто не помнит, как во время борьбы с Юденичем был раскрыт заговор начальника штаба петроградской обороны, сносившегося с Юденичем и действовавшего по его указанию! Орудием связи негодяя был старик, натурализованный француз. Дочь его теряет сверток бумаг на улице, обыкновенный красноармеец поднимает уроненные бумаги, развертывает их, видит какие-то чертежи. Он видел уже военные чертежи, подозревает, что дело неладно, арестовывает уронившую бумаги девицу. В руках ЧК — главная ячейка юденического шпионажа. Дзержинский рассказывал мне, что арестованный француз на допросе, нахальничая, сказал ему: „Если бы не случай, вы бы меня не поймали!“ — „Что же вы ему ответили?“ — спрашиваю я Дзержинского. — „Если бы не бдительность обыкновенного красноармейца, случайная потеря бумаг вам бы не повредила. А эта бдительность рядового красноармейца не случай, а сила ЧК“. Лучших чекистов Дзержинский подбирал из старых рабочих-партийцев, беспрекословно преданных делу пролетарской революции.

Второй источник силы Дзержинского и ЧК была решительность действия, рожденная из железной убежденности его в правоте дела пролетарской революции. Летом 1918 г. Дзержинский дает интервью представителям существовавшей тогда еще буржуазной и мелкобуржуазной печати. Они

спрашивали его, не допускает ли он, что ЧК может ошибаться и совершать акты несправедливости по отношению к лицам. „ЧК не суд — отвечает Дзержинский,— ЧК — защита революции, как Красная армия, и как Красная армия в гражданской войне не может считаться с тем, принесет ли она ущерб частным лицам, а должна заботиться только об одном — о победе революции над буржуазией, так и ЧК должна защищать революцию и побеждать врага, даже если меч ее при этом попадает случайно на головы невинных". Спасение революции было для Дзержинского высшим законом, и поэтому он находил в душе непоколебимую силу, без которой не была бы возможна победоносная борьба с контрреволюцией.

Враги пытались представить его кровожадным. Имя его сделалось пугалом для всей международной буржуазии. Но тем, кто знал Дзержинского, известно, как нелегко давалась ему его беспощадность. Дзержинский был человеком, стремящимся всеми корнями души к социализму, к гармоническому строю, дающему простор развитию всех человеческих сил. В Дзержинском, человеке беспощадной борьбы, было всегда много мечты о том строе, когда социальные условия не будут больше рождать не только неравенства, но и преступления. В нем была глубочайшая любовь к людям, к работе их мысли, и недаром за тюремной решеткой в 1908 г. в своем дневнике он дает выражение своему глубочайшему отвращению к насилию. Он даже в жандармах и провокаторах видит продукт социальных условий. И только глубокое убеждение в том, что всякое мягкосердечие мо-

жет причинить бедствия и страдания миллионным массам, позволяло ему опускать непоколебимо меч революции.

Он не любил говорить о том, что происходит в его душе в бессонные ночи, но от времени до времени у него прорывались слова, показывающие, как нелегко ему было. Когда мы собирались в 1920 г., во время борьбы с белой Польшей, на фронт, надеясь на победу, надеясь на то, что поможем польским рабочим в скором времени построить свою власть, освободиться от буржуазии, Дзержинский говорил мне: „Когда победим, я возьму Наркомпрос". Товарищи, бывшие при этом разговоре, смеялись. Дзержинский съежился. Но эти слова открыли то, что ясно было всякому, знающему Дзержинского. Разрушение, насилие были для него только средством, а самое существо Дзержинского—это была глубочайшая тоска по строительству новой жизни.

Благодаря тому, что этот источник был в нем самым сильным, окончание войны привело его на пост строителя социализма. Не только международная буржуазия, но даже многие товарищи были удивлены, когда услышали о назначении Дзержинского на пост руководителя нашего транспорта. Но это назначение отвечало мечтам Дзержинского, отвечало всей его природе. Не выпуская из рук руководство ГПУ, ибо не исчезли опасности, угрожающие республике от внутренней и внешней контрреволюции, Дзержинский бросился с жадностью на хозяйственную работу.

СТРОИТЕЛЬ СОЦИАЛИЗМА.

В работу на хозяйственном посту Дзержинский не внес ни технической, ни экономической особенной подготовки. Он имел то образование, какое имел всякий наш выдающийся партиец из старых кадров. Его университетом была тюрьма, где он зачитывался, как все, марксистской литературой. Специального уклона к изучению экономики у него не было. Почему же он, человек великой внутренней скромности, абсолютно чуждый чванству, мог взяться за неслыханно трудное дело воссоздания хозяйства? Когда Центральный Комитет поставил его во главе Наркомпути, многие думали, что дело в том, что он ударник, что он своей бешеной энергией преодолеет первые затруднения постройки аппарата, первые затруднения, стоящие на пути к тому, чтоб двинуть массу железнодорожников. Но скоро стало видно, что Дзержинский иначе понимает свою задачу, что он изучает не только организацию железных дорог, но и все экономические вопросы, связанные с развитием транспорта, что он вникает во все вопросы железа, угля, без решения которых нельзя поднять на должную высоту транспорт. Для Дзержинского работа на транспорте была только частью хозяйственного фронта, его глубочайшим образом интересовали, волновали вопросы строительства социализма.

Он в эти вопросы вошел полностью, как в жизненную задачу всякого коммуниста. Это не было для него специальностью, это была для него задача задач. Дзер-

жинский глубоко верил в то, что мы можем, что мы в состоянии не просто поднимать хозяйство, но и строить социализм, несмотря на затяжку международной революции. Веря в это непоколебимо, он считал своим долгом вложить всю душу в это строительство. Он знал, как трудно строить. Ему пришлось учиться днями и ночами для того, чтобы уяснить себе картину хозяйственных связей перед войною, чтоб уяснить себе изменения, происшедшие во время войны и революции, чтоб выбрать звено, за которое можно ухватиться. И он учился и работал с таким рвением, с таким напряжением, как только мог работать человек его веры и его энергии. Он рос на этой работе, ибо она была задачей, в которой выразились все основные устремления Дзержинского, как революционера.

Недавно на маленьком товарищеском собрании группы хозяйственников мне пришлось говорить с Дзержинским об очередных наших экономических вопросах. Другие рассуждали, доказывали,— Дзержинский горел, горел энтузиазмом, горел верой, горел железным убеждением. Один из присутствующих товарищей, знающий Дзержинского, как и я, больше 20 лет, сказал, когда мы возвращались домой: „Он не растратил за всю свою жизнь ни одного атома социалистических своих убеждений и социалистической своей веры".

Бешено работая, заражая всех вокруг себя этой своей верой, Дзержинский понимал великолепно, что работа его будет иметь успех, работа партии будет увенчана победой, если, кроме всего прочего, мы не забудем о двух условиях: победа невозможна без использо-

вания всего наследства буржуазной науки. И Дзержинский, который умел беспощадно ломать всякую попытку саботажа спецов, сумел бороться за условия работы для специалистов, за охрану их от чванства, от предрассудков и даже от законного недоверия рабочих масс. Лучшие из специалистов научились уважать и любить Дзержинского, присматриваясь к его великой работе. Но одновременно Дзержинский понимал, что самая совершенная наука не поможет нам построить коммунизма, если она не охватит рабочие массы, если рабочие массы не воспламенятся стремлением к постройке социализма, если они не будут втянуты в разработку всех вопросов нашего строительства. В последнем публичном документе, подписанном Дзержинским, в обращении ВСНХ—ВЦСПС по поводу необходимости усиления работы производственных совещаний, Дзержинский писал: „Хозяйственники должны знать, что ни одно мероприятие, ни один сколько-нибудь крупный вопрос не может быть проведен в жизнь, не может дать необходимых результатов, если он проводится через голову рабочей массы, если он не понят рабочей массой". Эти слова Дзержинского являются его завещанием, завещанием строителя социализма, который, связав жизнь свою с рабочими массами, пройдя ее в их рядах и во главе их, отбив врага, еще одною рукою опираясь на меч, другой — взялся за кирку.

* * *

Дзержинского нет. Для миллионных масс имя его было знаменем неустрашимого борца, было знаменем непоколебимой воли к победе, было знаменем защитника рабочих и бедноты. Имя его войдет в историю социализма, как одного из лучших борцов пролетариата. Если Ленина массы будут всегда помнить, как мозг революции, то о Дзержинском будут вспоминать, как о ее сердце. Он представлял собою такую амальгаму качеств, которой в таком составе история больше не повторит. Этот коммунист, глубоко преданный рабочим массам, видящий в них и в их борьбе залог победы, коммунист, преодолевший в себе буржуазный индивидуализм, был одновременно великой индивидуальностью, и вся партия до последнего ее члена знает, что такóго борца, как Дзержинский, с этим сочетанием воли и веры мы больше иметь не будем. У гроба Дзержинского будут стоять, опустив головы, не только рабочие Союза Советских Республик, среди которых он работал последние 10 лет, не только рабочие Польши, в рядах которых он боролся всю юность свою и для которых он по сегодняшний день был боевым кличем, но и томящиеся в тюрьмах рабочие всех стран, для которых его имя было лучом надежды.

Смерть Дзержинского вызовет бешеную радость в сердцах мировой буржуазии. Умер создатель и глава ЧК. Эта весть разнесется по всему миру и окрылит надеждой наших врагов. Но они ошибаются. Так же, как смерть Ленина вызвала в рядах рабочих масс чувство

необходимости крепче сомкнуть ряды, так и смерть Дзержинского вызовет в широких массах не только воспоминания о великих днях Октября, о героических годах борьбы против интервенции, но и волю к тому, чтобы собрать всю энергию для завершения того дела, которому Дзержинский посвятил пламя своих последних лет,— дела строительства социализма.

Карл Радек.

НА БОЕВОМ ПОСТУ

Феликса Эдмундовича не стало. Паралич сердца вырвал из наших рядов одного из самых выдающихся революционеров.

30 лет беспрерывной ожесточенной борьбы за социализм, из них одиннадцать лет тюрьмы, ссылки, каторги.

Феликс Эдмундович Дзержинский—это одна из самых светлых, прекраснейших личностей старого поколения революционеров, беззаветно преданных делу пролетариата.

Никогда он не знал личной жизни и отдыха.

Весь горит, всегда полон энтузиазма, никогда не падает духом, всегда идет вперед, всегда на боевых позициях, на самых опасных и ответственных революционных постах. Всякую работу, всякое задание выполняет всегда с одинаковым рвением. Во всякую работу вкладывает все силы, весь порыв, неслыханную добросовестность и исполнительность.

Колоссальные требования предъявляет он к себе и к своей работе. Беспощадно бичует всех, независимо от занимаемых постов, заслуг, революционного прошлого, за всякие проявления колебаний, малодушие, за всякую неисполнительность.

Особенно беспощадную войну объявлял всем тем, которые покушались на ленинскую линию нашей партии, на ее монолитность.

Мы видим Феликса Эдмундовича в литовском и польском рабочем движении, начиная с 1896 года. Легендарной фигурой был тогда „Юзеф". Гроза для царского правительства. Самый любимый и популярный вождь революционных рабочих Литвы и Польши. Один из основателей большевистской партии „социал-демократии Польши и Литвы", имеющей столь славное революционное и боевое прошлое.

Февральская революция открывает ворота каторги. Феликс на свободе. Бросается с юношеским энтузиазмом в революционное движение. Принимает активнейшее участие в организации и руководстве октябрьским восстанием.

Наступают послеоктябрьские дни. Пользуясь слабостью молодого рабоче-крестьянского правительства, наступлением на нас внешних врагов, контрреволюция готовится взорвать советскую власть изнутри. Необходимо быстро создать карательной орган диктатуры пролетариата, который бы беспощадно расправлялся со всеми темными силами реакции.

Кому поручить руководство столь сложной, трудной, ответственной работой? У Владимира Ильича нет колебаний. Выбор падает на Феликса Эдмундовича, как на единственного кандидата, которому можно поручить это дело.

С первых дней Октябрьской революции он руководил борьбой с контрреволюцией, изменой, предательством.

Он был грозой не только для нашей контрреволюции, но и для мировых хищников.

Период гражданской войны. Царское правительство свергнуто, а вместе с ним и весь государственный аппарат. Черные силы мировой реакции не позволяют нам приступить к мирному социалистическому строительству.

В дни гражданской войны приходится строить не только Красную армию, но и весь государственный аппарат. Стоят перед нами ударные боевые задачи. Одним из лучших руководителей и исполнителей этих задач всегда является Феликс Эдмундович.

Революционным порывом, натиском и неслыханной работоспособностью берет все препятствия, преодолевает все трудности.

Благодаря своему политическому чутью, неусыпной бдительности, он предотвратил много неожиданных, иногда весьма опасных ударов. Дни и ночи он охранял страну от готовящихся на нее покушений. Историческая роль Дзержинского в этой области будет жить в умах и сердцах многих поколений раскрепощенного человечества.

1920 год. Наступление на Варшаву. Дзержинский самый активный член польского ревкома. Полон энтузиазма, полон веры, что близок час раскрепощения рабочего класса.

Горячие желания Феликса тогда не осуществились. Польша осталась панской. Но он не унывает, не падает духом, он знает, что революция в Польше неизбежна. Нужна еще глубокая работа по революционизированию широких рабочих масс Польши.

Конец гражданской войны, начало мирного строительства. Дзержинский на постах наркома путей сообщения

и председателя ВСНХ. Начало его работы на поприще хозяйственном. Это—период полного падения трудовой дисциплины, производительности труда.

Он берется за новое для себя дело.

Он это понимает и сознает. Он берется за самое добросовестное, самое усидчивое изучение порученных ему областей хозяйственной жизни. Он скоро овладевает новым делом. Он всегда умеет брать быка за рога, выявить существо всех наших болезней и недомоганий.

С присущей ему энергией берется за дело борьбы, борьбы самой ожесточенный, с расхлябанностью, с распущенностью, со всякого рода злоупотреблениями и всеми причинами царившего тогда хаоса во всей стране. То, чего его предшественники выполнить не могли, что было им не по силам, то выполняется целиком и полностью Дзержинским, несмотря на колоссальные трудности и препятствия.

Один из немногих героев-революционеров конца XIX столетия оставил нас в период сложный и трудный, когда больше всего нужны нам его опыт, его работоспособность, его уменье строить социализм.

Феликс Эдмундович умер на боевом посту.

Он выступил на пленуме ЦК со страстной речью против безответственной критики, против уклонов среди некоторых членой ЦК, уклонов, опасных как для партии, так и для советской власти. Едва он пришел домой с заседания—паралич сердца прервал его жизнь.

Редеют ряды старой испытанной гвардии большевиков. На смену идет молодое поколение, но лишенное опыта и необходимой большевистской закалки.

Пусть светлая и прекрасная жизнь и смерть неутомимого борца и революционера, беззаветно храброго и преданного товарища, строителя новой жизни—Феликса Эдмундовича Дзержинского служит образцом и примером для новой смены.

Пусть молодое поколение идет по стопам лучшего солдата мировой революции.

(„Правда“ от 22-VII-26 г.)

И. С. Уншлихт.

ТОВ. ДЗЕРЖИНСКИЙ О СЕБЕ[1])

Родился я в 1877 году. Учился в гимназии в Вильне В 94-м году, будучи в 7-м классе гимназии, вхожу в с.-д. кружок саморазвития. В 95-м году вступаю в Литовскую социал-демократию, учусь сам марксизму и веду кружки ремесленных и фабричных учеников. Там меня в 95-м г. и окрестили Яцеком. Из гимназии выхожу сам добровольно в 96-м г., считая, что за верой должны следовать дела и надо быть ближе к массе и самому с ней учиться. В 96-м же году прошу товарищей посылать меня в массы, не ограничиваясь кружками. В то время у нас в организации шла борьба между интеллигенцией и рабочими верхушками, которые требовали, чтобы их учили грамоте, общим знаниям и т. д., а не совались не в свое дело, в массы. Несмотря на это, мне удалось стать агитатором и проникать в совершенно нетронутые массы—на вечеринки, в кабаки, там, где собирались рабочие.

В начале 97-го года меня партия послала, как агитатора и организатора, в Ковно—промышленный город, где тогда не было с.-д. организации и где недавно про-

[1]) Автобиография тов. Дзержинского, написанная им еще до назначения его председателем ВСНХ СССР. *Ред.*

валилась организация ППС. Здесь пришлось войти в самую гущу фабричных масс и столкнуться с неслыханной нищетой и эксплоатацией, особенно женского труда. Тогда я на практике научился организовывать стачку.

Во второй половине того же года меня арестовывают на улице по доносу рабочего-подростка, соблазнившегося 10 рублями, обещанными ему жандармами. Не желая обнаружить своей квартиры, называюсь жандармам Жебровским. В 98-м г. меня высылают на 3 года в Вятскую губ.— сначала в Полипск, а затем в наказание за строптивый характер и скандал с полицией, а также за то, что стал работать набойщиком на махорочной фабрике, высылают на 500 верст дальше на север, в село Капгородск. В 99-м г. на лодке бегу оттуда, так как тоска слишком замучила. Возвращаюсь в Вильну. Застаю Литовскую с.-д. ведущей переговоры с ППС об об'единении. Я был самым резким врагом национализма и считал величайшим грехом, что в 98-м г., когда я сидел в тюрьме, Литовская с.-д. не вошла в единую Российскую СДРП, о чем и писал из тюрьмы к тогдашнему руководителю Литовской с.-д. д-ру Домашевичу. Когда я приехал в Москву, старые товарищи уже были в ссылке — руководила студенческая молодежь. Меня к рабочим не пустили, а поспешили сплавить за границу, для чего свели меня с контрабандистамя, которые повезли меня в еврейской „балаголе“ по Вилкомирскому шоссе к границе. В этой „балаголе“ я познакомился с одним пареньком, и тот за десять рублей в одном из местечек достал мне паспорт. Доехал тогда до железнодорожной станции, взял билет и уехал в Варшаву, где у меня был один адрес

бундовца. В Варшаве тогда не было с.-д. организации. Только ППС и Бунд. С.-д. партия была разгромлена. Мне удалось завязать с рабочими связь и скоро восстановить нашу организацию, отколов от ППС сначала сапожников, а затем целые группы столяров, металлистов, кожевников, булочников. Началась отчаянная драка с ППС, кончавшаяся неизменно нашим успехом, хотя у нас не было ни средств, ни литературы, ни интеллигенции. Прозвали рабочие меня тогда Астрономом и Франком.

В феврале 1900 года на собрании меня уже арестовали и держали сперва в 10 павильоне Варшавской цитадели, затем — в Седлецкой тюрьме.

В 1902 году выслали на пять лет в Восточную Сибирь. По дороге в Вилюйск, летом того же года, бежал на лодке из Верхоленска вместе с с.-р. Сладкопевцевым. На этот раз поехал за границу — переправу мне устроили знакомые бундовцы. Вскоре после моего приезда в Берлин, в августе месяце, была созвана наша партийная — с.-д. Польши и Литвы — конференция, где было решено издавать „Червоны Штандар“. Поселяюсь в Кракове для работы по связи и содействию партии из-за кордона. С того времени меня называют Юзефом.

До января 1905 года езжу от времени до времени для подпольной работы в Русскую Польшу. В январе переезжаю совсем и работаю в качестве члена главного правления с.-д. Польши и Литвы. В июле арестовывают на собрании за городом, освобождает октябрьская амнистия.

В 1906 году делегируют меня на объединительный съезд в Стокгольм. Вхожу в ЦК РСДРП в качестве представителя от с.-д. Польши и Литвы. В августе —

октябре работаю в Петербурге. В конце 1906 года арестовывают в Варшаве и в июне 1907 года освобождают под залог.

Затем снова арестовывают в апреле 1908 года. Судят по старому и новому делу два раза, оба раза дают поселение и в конце 1909 г. посылают в Сибирь — в Тасеевку. Пробыв там семь дней, бегу и через Варшаву еду за границу. Поселяюсь снова в Кракове, наезжая в Русскую Польшу.

В 1912 году приезжаю в Варшаву, 1-го сентября меня арестовывают, судят за побег с поселения и дают 3 года каторги, в 1914 г. после начала войны вывозят в Орел, где и отбыл каторгу, пересылают в Москву, где судят в 1916 г. за партийную работу периода 1910 — 12 г. г. и прибавляют еще 6 лет каторги. Освободила меня февральская революция из Московского централа. До августа работаю в Москве, в августе делегирует Москва на партсъезд, который выбирает меня в ЦК. Остаюсь для работы в Петрограде.

В Октябрьской революции принимаю участие, как член военно-революционного комитета, затем после его роспуска мне поручают сорганизовать орган борьбы с контрреволюцией — ВЧК(7/XII 1917 г.), председателем которого меня назначают.

Меня назначают народным комиссаром внутренних дел, затем, 14 апреля 1921 года,— и путей сообщения.

Ф. Дзержинский.

П. Ю. Киселис. Ф. Э. Дзержинский в гробу.

(Уголок памяти Ф. Э. Дзержинского на VIII выставке АХРР).

СЛУШАЯ РАДИО...

I.

... За десятки верст от Красной площади, прижимая к ушам трубки радиоприемника, отдавался думам о Дзержинском.

Еще нет шести часов. Радио молчит. Воображение подсказывает, дорисовывает картины, скрытые расстоянием. Вот сейчас отходит смена почетного караула от гроба. Ближайшие друзья и соратники с трепетно бьющимися сердцами поднимают гроб и спускают по лестнице Дома Союзов. В эти мгновенья застилаются глаза, волнует рыдание оркестра, щемит сердце и к горлу подкатывается волна, которую с большим усилием преодолеваешь. Тронулись... В который уже раз совершаем мы этот поход? И сколько раз суровый и нежный Дзержинский сам провожал на Красную площадь других бойцов великой армии? И что думалось ему на пути от Дома Союзов до Красной площади, когда он следовал за гробом?

... Радио все еще молчит... Его молчание волнует.

II.

... В уши ворвалась волна глухих, неопределенных звуков: море ли шумит далеким прибоем, толпы ли народа

сдержанно гудят на площади в ожидании процессии... Волнует и этот гул... Перед глазами газета с портретом Феликса. Самый лучший портрет не передаст огня, горевшего в его глазах, на его щеках, на его губах.

Я думаю о газете. Первая и вторая страницы заняты им. А в остальных—все, как всегда. Интриги польских панов, судорожная министерская чехарда во Франции, суд над Ракоши, мобилизация народных сил в Кантоне против империалистов, борьба за режим экономии настоящая и рядом с ней показная, погасла последняя домна в Англии и пуск новой домны в СССР. Все как всегда. Жизнь, всюду жизнь. Всего только вчера Феликс пробегал торопливым взглядом по столбцам газеты, переживая острее других и тревогу за безопасность границ перед происками пилсудчиков и радость от наших повседневных маленьких успехов.

А нынче газета полна им, Феликсом Дзержинским, наискромнейшим из людей.

III.

... У нас плохая привычка, которую пора искоренить. При жизни о величайшем революционере, о замечательнейшем человеке из ложной скромности не говорят и не пишут ничего. Массам личность Дзержинского неизвестна. Они знают государственного деятеля Дзержинского, вождя Дзержинского, бойца Дзержинского. Но человека, Феликса, целостную личность, светлую и гармоничную, обаятельного идеалиста (в лучшем смысле этого слова), трогательно чистого семьянина-однолюба, добрейшего и отзывчивого

товарища, человека без трещин и изъянов — этого Дзержинского массы не знали. Об этом Дзержинском при жизни не принято говорить и писать.

Но почему? Только потому, что ему, Феликсу, было бы неприятно? Но Феликс был истинный друг народа, и народ имел право при жизни знать своего друга. Может быть, иным звуком отдавались бы тогда речи Дзержинского в умах и сердцах масс. Дзержинский требует от рабочих, чтобы они лучше, больше, добросовестнее работали. Не всякий человек имеет моральное право предъявлять к массам такое суровое требование. А Феликс Дзержинский имел это право, как, может быть, никто после Ленина. Ибо Феликс был сам великим работником.

Феликс проработал всю ночь над докладом высокой государственной важности. В 8 часов он был уже в одном учреждении, в $10^1/_2$ — в другом, а в полдень уже сидел на пленуме ЦК партии, готовясь к своей речи,—увы, последней. И некогда было думать о еде. Если бы массы знали, какой это был великий труженик, может быть, его слово было бы еще доходчивее, и сквозь строки его приказов по ВСНХ, газетных отчетов о его речах на массы пахнуло бы небывалым энтузиазмом творчества. Надо прорвать этот заговор молчания о великих людях. Я боюсь, что и сейчас по заведенному шаблону с газетных страниц схлынут статьи и воспоминания о Дзержинском, а массы еще не успели, не смогли из торопливых, взволнованных статей получить полное и ясное представление о личности ушедшего.

IV.

...Целый шквал звуков... Похоронный марш. Звуки отчетливые, близкие и звуки приглушенные, далекие... Очевидно, сразу играют многие оркестры... Процессия, вероятно, подошла ко входу на Красную площадь. В этом смешении мелодий и звуков на фоне глухого гула народных толп какая-то трогающая душу грустная красота.

Долго, долго льется музыка. Врывается давно знакомый мне бой колоколов на часах Спасской башни. Как долго длится музыка! Как будто уж часы прошли, а стрелка показывает 12 минут седьмого. Слышны чьи-то голоса, почти шопотом переговаривающиеся на трибуне мавзолея. Нескромный микрофон радио передает всякий звук. Я узнаю сквозь гул и музыку голос Авеля Енукидзе, негромко говорящего кому-то:

— У нас мало времени до 7 часов.

Бедный Авель! Сколько друзей пришлось ему устраивать на покой под кремлевскими стенами! Ему некогда бывает даже на минуту отдаться естественной грусти. Ведь на него первого ложатся тягостные прозаические заботы об организации печального церемониала. Мы так привыкли видеть его характерную золотистую голову над гробом бойца. Скольких уже он заботливо проводил, начиная с Свердлова? Добрый к живым, он, кажется, не изменяет тех же привычек доброты и к мертвым...

V.

...Речей все еще нет. Как тянется время... Я думаю о Феликсе. Величавая гармония во всей его судьбе полна глубокого смысла и логики.

С яростью подкапывал и расшатывал он устои старого строя. Израненный, измученный, горящий великой ненавистью к угнетателям, он дождался первой великой радости. Старый строй пошатнулся. Разрушительная работа снизу дала первые результаты.

С яростью крошил и крушил он угнетателей мечем Чека. Сверху. Без пощады рубил проклятые поросли эксплоататоров. Подрывал динамитом последние корни гнилых дубов. Мощными тракторами выпахивал обломки корней, отвратительные коряги, мешающие плугу резать борозду. Испытал великую радость победы. Все меньше заговоров и мятежей. Реже контрреволюционные восстания. Бессильные шпионские происки врагов. Можно приступить к посеву. Расшатав снизу, искрошив в щепки сверху, Дзержинский с той же яростью принимается за посев, за стройку.

Разрушение старого строя снизу и сверху. Потом стройка нового. Какая логически стройная, гармоническая схема.

VI.

...Речи вождей. Как тяжко, должно быть, говорить о Феликсе, когда он тут же в гробу, с закрытыми глазами, тянется к заходящему солнцу. Говорят о прошлом, но должны думать о будущем. Через час Феликс будет в могиле, поблизости от Ленина и Свердлова. А дело Феликса живет и зреет. Дело Феликса требует удвоенного труда. Ведь Феликс-то выбыл из строя, как ни странно себе представить строй бойцов без Феликса. Феликса надо как-то заменить.

Тяжело, должно быть, говорить над гробом вождя, друга и соратника. Особенно осиротели чекисты, железные птенцы из стаи Дзержинского, им выпестованные.

VII.

... Чей-то голос объявил: „Народное собрание закончено". Что же дальше? Наступило молчание. Наверное, сейчас Феликса опускают в могилу. В сырую землю. В сырую. Его, огненного человека, в сырую землю? Какая нелепость! Скоро ли построят, наконец, крематорий, чтобы люди революции из огня борьбы и стройки, минуя земной тлен, сразу превращались в пепел. Все равно Дзержинский горел неугасимым огнем. Уместно бы его, получившего бессрочный вечный отпуск, отдать огню. Огонь борьбы, огонь погребения.

А впрочем... Но вот опять оркестры... Я еще не слышу сквозь звучание их меди новых звуков, но я чувствую издалека страшную музыку падающих на гроб комьев сырой земли. Все композиторы мира не создали мелодии, подобной этой. Когда стоишь на краю дорогой могилы и застучат о дерево первые удары земли,— хочется схватиться за сердце и крикнуть, ибо только в этот миг окончательно постигаешь невозвратимость утери.

Музыка играет, повторяя одни и те же мелодии.

Почему-то вспомнилось слово „гидра". Его затаскали, истрепали, опошлили частым неделикатным повторением.

А между тем — вот человек, который видел лицом к лицу эту самую многоглавую гидру контрреволюции, был обжигаем ее ядоносным дыханием. И рубил, рубил одну голову за другой. Сначала казалось, что головы

у гидры растут еще быстрее, чем их отсекает Дзержинский. Бешенство гидры возрастало. Но потом стало ясно, что рука Дзержинского не ослабевает, а гидра сдается, дергается в судорогах, корчится и издыхает. Уже нет той гидры, которая грозила нашему существованию. Нашлась богатырская рука, поразившая гидру, нашелся меч из доброго металла.

Это не о Дзержинском ли, истинном богатыре, сложил народ сказку? Будут, будут сложены прекрасные, неувядаемые сказки и песни о Феликсе, неистовом победителе гидры контрреволюции!

И еще вспоминаются строки Маркса. Вы хотите увидеть огненный лик пролетарской диктатуры?

Вглядитесь в последний раз в облик Дзержинского. В нем воплотился дух пролетарской диктатуры.

VIII.

...Все конечно... Гремят залпы, по радио отдающие странными вспышками шороха, шуршания, заглушаемого музыкой... Движутся, вероятно, многотысячные потоки пролетарской массы. Как тяжело, должно быть, вождям уходить от его могилы. Пока он лежал в гробу, сначала в своей маленькой скромной квартирке, потом в Доме Союзов, потом на трибуне мавзолея,— он все еще был с нами. Около гроба бессменно стояли лучшие бойцы и строители. А теперь — он остался один. Вот пройдут по площади последние колонны демонстрантов. К полуночи площадь затихнет. Гулко пробьют башенные часы и проплывут звуки „Интернационала“, подхватываемые и разносимые радиоволнами. Только огонек в крыше

мавзолея напоминает о бессмертном гении учителя, да красное знамя над куполом здания ЦИК плещет, озаряемое чудным красным светом.

Тихо на площади. Покой. Прощай, Феликс! Отдохни, великое сердце, бившееся за всех угнетенных.

Тихо будет в маленькой кремлевской квартирке. Вернутся в нее с Красной площади Софья Сигизмундовна Дзержинская, верная скромная подруга и соратница Феликса, и маленький Ясь, широко раскрытыми глазами смотревший на окружающее, любимый сын Феликса.

Тихо. Странно тихо.

А завтра с рассветом загремит бурная жизнь. Новые битвы, новые подвиги. Неукротимый большевизм будет строить здесь и подтачивать, расшатывать устои там, на Западе. Дело Феликса живет и будет жить.

(„Правда“ от 27-VII-26 г.)

Л. Сосновский.

П. Котов. В Доме Союзов. У гроба Ф. Э. Дзержинского.

(Уголок памяти Ф. Э. Дзержинского на VIII выставке АХРР).

„КАК Я РИСОВАЛ ДЗЕРЖИНСКОГО“

К юбилейной выставке „5 лет Красной армии“, которую организовал АХРР совместно с Высш. Военным Ред. Советом РВС., мне было поручено нарисовать портреты Дзержинского и Уншлихта.

Работа была срочная, а главное — ответственная; конечно, я трусил.

Председатель ВВРС тов. Полонский меня бодрил. Он говорил, что порученные мне модели, хотя крайне занятые, но, вероятно, уделят минимум времени.

— Можно пользоваться и фотографией.

Я сказал т. Полонскому, что терпеть не могу фотографии, которая, во-первых, врет в пропорциях обязательно, а во-вторых, передает не человека, а какие-то случайности в нем.

От фотографии, как всегда, я решительно отказался. Мне посоветовали сначала начать портрет тов. Уншлихта. Отсюда начало моего знакомства с ГПУ на Лубянке.

Здороваюсь с тов. Уншлихтом.

Серьезный, со слегка наклоненной складкой среди бровей, плотный.

Разговариваем стоя.

— Где вам удобнее рисовать. Здесь или у меня на квартире в Кремле?

Говорю, что это не имеет значения, лишь бы мне не мешали.

— Сколько вам надо сеансов?

— Не менее пяти и не более десяти, по часу.

Я указал срок, данный мне ВВРС.

— Я думаю, что давайте рисовать в Кремле. У меня жена художница, не имеет в Москве знакомств среди художников, и вам там будет удобнее. Жду вас завтра к 10 часам утра у себя в Кремле.

Десять дней я работал над портретом тов. Уншлихта масляной краской.

Тягости позирования облегчала его жена, художница-портретистка, Стефания Арнольдовна, ныне участница ахрровских выставок.

Уншлихты помогли мне приступить к портрету Дзержинского.

Они ему сообщили о необходимости позировать. Но тем не менее с Дзержинским начались осложнения и недоразумения.

Прежде всего два или три дня меня к нему не допускали.

Я нервничал, но вспомнил, что и с Уншлихтом так же было.

Времена были тревожные, это был конец 1922 года.

Наконец, меня пропустили к Дзержинскому.

Попадаю в комнату, где сидят два человека. Один маленький, полный, другой—атлетического сложения, крупный, с почти лысой головой.

Секретариат Дзержинского.

— Дзержинский вам позировать не может,— говорит маленький человек.

У меня пропадает всякое любопытство, всякая рефлексия, я наливаюсь энергией, как всегда в минуты опасности и неудач.

Я наливаюсь волей и энергией.

Дзержинского я должен рисовать.

— Разрешите мне на три минуты поговорить с тов. Дзержинским. Доложите ему мою просьбу о трехминутном разговоре.

Все мое тело превращается в одну накаленную мысль, которой я заражаю секретаря.

Удалившийся секретарь через несколько минут вернулся.

— Пожалуйста, пройдите к тов. Дзержинскому.

С бьющимся сердцем, ощущая себя художником-портретистом и просто человеком любознательным, шел я к Дзержинскому с каким-то особенным взвинченным настроением, которое я сравнил бы с настроением, получаемым от Достоевского, когда в него вчитаешься по-настоящему.

Большая, очень большая комната. Прямо против дверей, у самой стены,—письменный стол с телефонами, за которым я и увидал Дзержинского. Секретарь, открывши мне дверь, в комнату не вошел. Мы вдвоем. Здороваемся.

Я сажусь около письменного стола по предложению Дзержинского.

— Может-быть, можно обойтись без портрета, уж очень я занят,—говорит Дзержинский. Он рассматривает меня с лицом вежливым и чужим.

— Ваш портрет необходим для военной выставки. Я постараюсь вас мало беспокоить и поскорее кончить.

Смотрю на розово-красное лицо, на совершенно особенные глаза умственно возбужденного человека, мало спящего и поэтому с красными жилками на белках.

Оглядываю письменный стол. Прицеливаюсь к портрету.

Решаю, что обязательно надо изобразить телефон.

Повидимому, Дзержинский заразился моими деловыми переживаниями.

— Хорошо,—говорит он.—Приходите сюда и работайте. Только я тоже все время буду работать. Мы оба будем с вами работать.

Я быстро соглашаюсь, хотя прибавляю, что без позирования будет трудно хорошо сделать.

Удаляюсь с головой, заполненной соображениями о мольберте, о подрамнике, о трудности рисовать не позирующего человека.

Секретарь дал мне лошадь для перевозки мольберта и других принадлежностей работы. Я ходил, как зачумленный.

„Как же я буду рисовать не позирующего человека, куда будет годиться портрет Дзержинского, глаза которого будут опущены?“

От себя я ничего не могу рисовать и никогда не ценю отсебятины.

Правда, я никогда не копирую натуры, всегда распоряжаюсь ею по-своему, при помощи натуры я выражаю нужную мне идею формы. Но натурщик мне нужен.

А Дзержинский не может позировать.

Может быть, воспользоваться фотографией.

Вспоминаю Полонского.

Еду к секретарям Дзержинского. Беру фотографии.

Противно, но начинаю чертить позу.

Мне кажется, что у меня что-то выходит.

Работаю у себя дома, ночью.

Утром первый сеанс у Дзержинского. Он сидит за столом и пишет. Мы поздоровались и больше ничего не говорим. Я поставил полотно на мольберт, взял уголь и стал рассматривать лицо и руки Дзержинского. Сразу понял, что ни одна фотография не похожа. Единственно, что я понял, так это то, что поза в одном снимке совпадает с устойчивой манерой Дзержинского сидеть за столом во время работы. Я соображаю, что надо держаться этой позы, ибо это есть, повидимому, более характерная для него.

Приглядываюсь к лицу. Обнаруживаю, что оно замечательно красиво.

Несколько раз он вставал и подходил ко мне.

Я обратил внимание на его стройную фигуру и совершенно изумительную чистоту профиля его лица.

Красивый, гордый и мужественный профиль.

Первые дни мы почти ни о чем не говорили.

Я чертил уже дня два—три.

Изучал цвет лица, костюма, рук, всего антуража. Компановал, обдумывал и давал Дзержинскому привыкнуть к себе.

Понимал отлично, всегда понимаю, что позировать трудно, утомительно.

Но еще больше я понимал и сейчас понимаю, что позировать люди революции должны и прямо обязаны.

Надо учитывать интерес масс к своим вождям и руководителям.

Здесь роль портретистов колоссальна.

Искусство есть величайшая помощь Агитпропу. Картина, портрет — это постоянно говорящий оратор.

Всем своим натурщикам, а за революцию я нарисовал свыше пятидесяти портретов коммунистов, из которых многие члены правительства, я всегда внушал эти мысли о необходимости позирования, о необходимости комагитации при помощи изобразительного искусства.

Этими мыслями я поделился с Дзержинским. Он слушал меня внимательно, и я понял по его глазам, что он со мной согласен и мне симпатизирует. Дальше его симпатии явно обнаружились.

Я уже работал красками. Время от времени он взглядывал на меня по моей просьбе, и я ловил его живой взгляд.

Я не знаю, какие мысли были у него и над чем он работал. Он сидел в своем кабинете в ГПУ, и я хотел рисовать его председателем ГПУ.

Я старался уловить возбужденность его лица, красноватый цвет белков глаз.

После на выставке один художник отметил все это в его портрете, точно отгадав мой замысел, как будто читая мои мысли.

Дзержинский не хотел мне позировать, но уже держал позу головы и рук и даже справлялся, помогает ли и это мне.

Дальше пошло лучше. Он спросил, где я живу, и сказал, что отвезет меня домой.

В его кабинете, кроме письменного стола, был умывальник, за ширмой стояла кровать и, если не ошибаюсь, был шкаф для платья. Он оделся в военную шинель тут же в кабинете, и мы двинулись к выходу.

Высокий, стройный, прямой, с изысканно изящным профилем, деликатный, внимательный в беседе,—о, этот человек не может быть жестоким!

Легенды о его жестокости есть путаница с жестокостью класса пролетариата по отношению к буржуазии, а не жестокость лично Дзержинского к кому бы то ни было отдельно.

Помню напряженно глядящих часовых внутри ГПУ. Всюду чистота, тишина и дисциплина.

Помню, как он деликатно усадил в автомобиль сначала меня, а потом сам сел, в то время как я стремился поступить наоборот. Когда мы проезжали по Арбатской площади мимо ресторана „Прага“, вновь открытого, он спросил, что это за здание. Я удивился, как он это не знает, и услыхал от него, что Москвы он не знает, что он ее видит только из окна автомобиля, когда едет обедать и обратно.

Я ему сказал, что это ресторан „Прага“, что мне пришлось недавно там быть, что там довольно противно, играют в карты и т. д.

Это было начало новой экономической политики.

Когда мы приехали ко мне на Плющиху, то автомобиль остановился не у подъезда, а у ворот.

Я обратил на это внимание, ибо это не случайно: следующие разы шофер Дзержинского ставил автомобиль опять у ворот.

Может быть, это была предосторожность.

Кстати, из области моей неврастении.

Я себя в автомобиле Дзержинского чувствовал отвратительно, меня мучила навязчивая мысль: а вдруг будет покушение на Дзержинского и меня обвинят как соучастника.

Я понимал, что эта мысль глупая, но меня от этой глупой мысли кидало в пот, и эта мысль назойливо-настойчиво была у меня всегда, когда я был с Дзержинским в автомобиле.

Как-то я спросил у Дзержинского, рисовал ли его кто-нибудь.

Он сказал, что его лепила англичанка, рисовал художник с украинской фамилией.

Мы установили, что это художник П-ко.

— Только я ему перестал позировать,—говорит Дзержинский.

Я рисую и думаю—вдруг он и мне прекратит сеансы и хочется мне знать причину отказа худ. П-ко.

— А знаете, почему я отказался позировать П-ко?— вдруг, отрываясь от работы, говорит Дзержинский.— Он, П-ко, вообразил, что я, как народный комиссар Путей Сообщения, могу давать ему железнодорожные билеты бесплатно. Да я ему и давал, но он стал просить би-

Е. А. Кацман. Ф. Э. Дзержинский в гробу.

(Уголок памяти Ф. Э. Дзержинского на VIII выставке АХРР).

леты для всех своих родственников—тогда я прекратил сеансы.

Художника П-ко я не знаю, но мне за него сделалось стыдно. Я вспомнил свое правило никогда ничего не просить у позирующего, и понял, что Дзержинский не прекратит для меня сеансы.

Повидимому, Дзержинский питал ко мне симпатию: он заезжал за мною и отвозил к себе в ГПУ. ГПУ он называл „комиссией" по старинке.

Звонил он мне иногда по телефону.

Когда я в первый раз услыхал: „С вами говорит Дзержинский",—я понял, что он действительно внимательный и деликатный человек.

Как-то, откинувшись от письменного стола, Дзержинский с восторженным лицом говорит, глядя на меня:

— Вы знаете, для меня сегодня такой счастливый день. Мы на Александровском вокзале открыли столовую на 1400 человек,—и лицо у него детски радостное.

В этот день он был особенно мягкий.

Когда кончился сеанс он спросил: „Хотите пойти на концерт, у меня есть билеты".

Я считал, что портрет у меня идет отвратительно, а когда работа скверно идет, я не способен больше ни к каким впечатлениям.

Я поблагодарил его за приглашение и сказал: — Хочу думать только о своей работе, посторонние впечатления будут мне мешать,—и отказался от билетов.

— Я вас понимаю, —сказал Дзержинский,—я сам, когда занят делом, не люблю посторонних впечатлений, да и дело по-настоящему не сделаешь.

Как-то, увлекшись работой, я свалил мольберт, что произвело шум.

Упала работа, кисти. Я наклонился, стал все подбирать, и вдруг увидел возле себя Дзержинского.

Он мне помог поставить мольберт, подымал вместе со мной кисти.

С каждым сеансом я в него влюблялся, что бывает со мной, когда я интересуюсь моделью. Между прочим, на шум упавшего мольберта явился секретарь, за ним еще кто-то в дверях, с тревожными лицами.

Мне почудилось у них подозрение, не покушаюсь ли я на жизнь Дзержинского. А, может быть, это моя неврастеническая фантазия?

Дзержинский оглянулся на секретаря и с улыбкой сказал: „Это большой шум по пустякам". На мой взгляд работа двигалась у меня отвратительно. Дзержинский хвалил, секретарь хвалил, а я делал приличное лицо при плохой игре, валяясь на диване от отчаяния.

Оставалось только два сеанса.

Как-то, углубившись в работу, я вдруг слышу слова Дзержинского, который глядит на мое, повидимому, страдальческое лицо.

— А что, трудно вам работать?

— Представьте себе, Феликс Эдмундович, что за вашим столом сижу я, а за моим мольбертом стоите вы. Вы хотите меня рисовать, я двигаюсь, что работа идет плохо, осталось два дня. Очень мне трудно работать, Феликс Эдмундович!

— Что нужно, чтобы облегчить вам работу?

— Очень немного, посидите специально для меня.

— Хорошо, я буду вам позировать,— говорит Дзержинский с серьезным лицом.

Два дня он специально сидел для меня.

В последний день он дал мне два сеанса, утром и после обеда.

Ему портрет очень понравился, он даже сказал, что портрет замечательный.

Согласился мне как-нибудь еще позировать, специально для профиля, и позировал . . . только уже мертвым.

Смерть его произвела на меня потрясающее впечатление.

Я только что приехал из Финляндии от Репина и узнал о смерти Дзержинского. Перед отъездом в Финляндию я его видел живым в Кремле.

Он располнел за эти три года, но профиль остался замечательно красивым.

Был он в какой-то короткой куртке.

Мертвого Дзержинского я рисовал ночью от 3-х до 6.

Никто не мешал работать и изучать лицо.

Опять я был поражен необычайной красотой лица. Мне даже показалось, что профиль стал еще более необыкновенным, что отметил и Троцкий в своей замечательной статье о Дзержинском.

Евгений Кацман.

С. Меркуров. Тов. Ф. Э. Дзержинский.

ТОВАРИЩ ДЗЕРЖИНСКИЙ СРЕДИ ХУДОЖНИКОВ

Давно уже ожидался приезд Феликса Эдмундовича в Центральный Кустарный Музей ВСНХ, и было вполне достаточно времени, чтобы каждый сотрудник мог привести порученное ему дело в должный порядок и покойно ожидать приезда „начальства", но тем не менее сотрудников Музея, в особенности художников, не покидали какая-то особенная настороженность и волнение. Да и понятно: для художников, вкладывающих свою душу в творимое ими дело, отрывающих частицу своих нервов в процессе творчества нового художественного образца, отыскивающих пути и средства к массовому производству новых художественных изделий, да еще в условиях примитивной техники, коими располагает кустарь при массовом размножении образца, полученного из рук художника, было совсем не безразлично, как к этому отнесется председатель ВСНХ, в руках которого была сосредоточена судьба всей промышленности СССР.

Волновало и то, будут ли поняты и оценены стремления художников восстановить истрепанный капризными требованиями рынков и упадком техники художественный вкус кустаря, путем классических образцов или путем воспроизведения лучших образчиков крестьянского творчества XVII века?

Не будет ли поставлено в упрек художнику желание сообщить кустарям разбег от старины к новым, современным революционным формам и сюжетам, без нарушения традиций их векового художественного мастерства, как желание тянуть кустаря назад к „домостроевскому“ укладу? Ведь были же случаи, когда при даче объяснений старым членам партии, последние полушутя, полусерьезно иронизировали над стремлениями Музея вернуть кустарей к мастерству помещичьего быта и „палочного режима“. А в отношении принятия Музеем всех мер к сохранению самобытности и изумительной тонкости и виртуозности мастерства Палеховских и мастерских иконописцев, переведенных Музеем на сюжеты революционной живописи, разве мало здесь было поломано копьев, разве мало на страницах советской прессы подвергалась обстрелу затея Музея перевести на советские рельсы художественное творчество иконописцев, резчиков, живописцев по финифти, позолотчиков, парчевников, меднолитейщиков и прочих мастеров, кустарей, ранее обслуживавших религиозные культы православия?

Несколько иным и диаметрально противоположным было мнение ответственных работников, посетивших закрытую выставку Музея перед отправкой последним заготовленных на Международную Выставку Декоративного Искусства в Париже коллекций художественных изделий кустарей.

Все это вместе взятое, вся та неустойчивость мнения руководящих партийных кругов в вопросах об искусстве и в особенности в вопросах о крестьянском бытовом творчестве, как коллективном выявителе художественного вкуса народа, не могли не волновать художников. Приговор, который они могли услышать из уст Феликса

Эдмундовича на 99% должен был быть для них приговором, не подлежащим никакой апелляции как в производственно-хозяйственном, так и в политическом отношении.

Но, как обычно водится, длительное ожидание притупляет чувство волнения и тревоги—успокоились и музейные работники.

Обычные заботы о деле втянули всех в будничные рамки, и Музей в процессе работ по упаковке и отправке последних ящиков с экспонатами на Парижскую выставку принял вид склада по упаковке грузов и далеко не отвечающий приему долгожданного „начальства".

Но вот короткий телефонный звонок.

Член президиума ВСНХ С. П. Середа: — Это товарищ Вольтер?—Ну, так вот, не уходите никуда, мы с Феликсом Эдмундовичем сейчас приедем к вам в Музей.

Сообщил эту новость по Музею, и сразу стало ясно, насколько каждым из художников ожидался приезд товарища Дзержинского.

Сосредоточенные лица и даже некоторая растерянность, словно у ученика, невзначай вызванного „строгим учителем" к ответу. А когда у подъезда зашумел мотор, многие из сотрудников даже оправили платье, готовясь встретить „хозяина-гостя" и строгого „судью".

Не скрою, что это волнение передалось и мне, и я мысленно стал пробегать перечень тех объяснений и ответов на возможные и предполагаемые вопросы, которые могли быть мне заданы, чтобы не затянуть их и не стать скучным товарищу Дзержинскому, по горло занятому государственными вопросами, своими микроскопическими заботами о порученном мне деле. Всего больше меня

беспокоило то, что мои объяснения могут ему показаться ненужными и надоедливыми и у Феликса Эдмундовича иссякнет терпение выслушивать результаты проделанной работы, дальнейшие ее планы и, главное, жалобы, сетования на нужды, помехи, встающие на пути, и которые мы, мелкие работники, бессильны устранить, при всем желании развернуть дело до необходимых, с нашей точки зрения, размеров.

Как сейчас помню высокую, несколько худощавую фигуру товарища Дзержинского, с бледным истомленным лицом, с пластырем, закрывающим на щеке нарыв,— этого молчаливого свидетеля крайнего изнурения. Солдатская шинель, маленькая, кругленькая шапочка „кубанка" и усталые, но внимательные глаза.

Я даже не обратил внимания на сопровождающих его, кроме Семена Пафнутьича Середы, который представил меня т. Дзержинскому, отрекомендовав „Батькой" по художественно-кустарной промышленности.

Художник Развадовский, заведывавший существовавшей тогда Постоянной Кустарно-Промышленной Показательной Выставкой (при Музее), самоуверенным тоном приступил к объяснению экспонатов, отображающих художественные достижения кустарей Хорезма, Узбекистана, Хивы, Бухары, Крыма, Черемисов, Якутии, Дальнего Севера и Украины.

С первого же зала ряд практических вопросов о стоимости и мощности производства, о рынках сбыта, о затруднениях улучшения качества изделий, о необходимости или ненужности поддержки того или иного промысла и проч. Тот практицизм, та хозяйственная хватка, с которой

подошел к обозрению экспонатов Феликс Эдмундович, сразу сбили самоуверенный тон объяснителя и сразу выявили неисчерпывающую полноту знаний заведующего Выставкой. А когда выяснилось, что доставляемые за границу расшитые золотом восточные халаты подвергаются там жесточайшей перекройке, и добрая половина их вовсе уничтожается, а для отделки дамских костюмов, диванных подушек и проч. идет только незначительная часть золотошвейного узора, и Выставкой не принималось и не принимается никаких мер к избавлению узбечек и хивинок от зрящей работы, „спец" был окончательно повержен в прах. Последовал ряд пояснений и разъяснений о недостатке средств и людей для управления разбросанными по всей Средней Азии кустарными промыслами. Но и тут обнаруживается, что промыслы уже не так-то рассеяны, и что вполне возможно было начать работу по урегулированию производства с наиболее мощных районов.

Поднимаясь с Выставки в Музей, Феликс Эдмундович интересуется преданностью своему делу художника Развадовского и, получив утвердительный ответ, рекомендует проявлять по отношению к нему мягкую подсказку и тут же говорит: „Он хорош именно тем, что, кроме своего искусства, ничего не знает и знать не желает. Он должен итти в пристяжной, а хозяйственно-экономической инициативы от него требовать нельзя" [1].

[1]) Все приведенные в тексте слова Феликса Эдмундовича настолько поразили и обрадовали меня своей простотой и ясностью, что тут же были записаны мною, как материал, подтверждающий мои, никем еще до сего времени не подтвержденные, взгляды на искусство.

Мы в Музее. Феликса Эдмундовича поражает скромность размеров учреждения, претендующего на столь громкое звание, как Центральный Кустарный Музей ВСНХ.

Те же вопросы практического характера. Но вот доходим до богородской резьбы, изображающей красноармейцев, комиссара, едущего в сломанном изодранном экипаже с надписью „1919 год", и фигурок красноармейца, колющего штыком буржуа с надписью: „Ответ на ультиматум Керзона". Объясняю, что это первая попытка привлечения кустаря к отображению советского быта, к переходу на современные и революционные темы. Рассказываю о тех запретительных мерах, существующих на местах в районах кустарной промышленности, когда милиция отбирает от кустарей и сжигает изготовленные ими развоы красноармейцев, как акт кощунства и издевательства над Красной армией.

— А вы грехом не ахрровец?— задает вопрос Феликс Эдмундович.

Отвечаю:— Да.

— Ну, это и видно!.

Дальше знакомство с кукольным промыслом, с росписью по дереву, подносной живописью, набойным производством, керамикой и пр. кустарными промыслами.

Тов. Дзержинский с удовлетворением отмечает попытки Музея к советизации художественных кустарных промыслов и с большим одобрением отзывается о работе художников, стремящихся повысить художественно-технический уровень кустарей путем воспитания их художественного вкуса на образцах и старинных изделиях крестьянского бытового творчества.

А. Вольтер. Тов. Дзержинский в гробу.

(Уголок памяти Ф. Э. Дзержинского на VIII выставке АХРР).

Лица моих товарищей начинают сиять, и невольно они сами вступают в беседу с тов. Дзержинским. Очевидно, это ему нравится еще больше, он направляет свои вопросы уже непосредственно к ним. Знакомство с опытами Музея над Палеховскими богомазами, виртуозность их мастерства и изумительная художественная чуткость окончательно приводят Феликса Эдмундовича в веселое настроение.

Шутит: „Это ничего, что иконописный стиль покоробит того или другого стопроцентного коммуниста, зато это красиво, а, пожалуй, если начать их переучивать, так окончательно испортишь".

Товарищ Середа информирует Феликса Эдмундовича о целях и задачах экспорта и о той роли, какую в этом деле может сыграть Музей.

Феликс Эдмундович отшучивается тем, что он профан в вопросах искусства и художественной политики, что он еще не слыхал о художественном рецепте, который мог бы заставить Бенеша признать СССР, но это не мешает ему любить и уважать людей, крепко держащихся за избранную ими профессию, как бы подчас ни было тяжело.—Энциклопедичность большое зло для нашей современной промышленности.

Товарищеское рукопожатие со всеми сотрудниками Музея — и Феликс Эдмундович уехал, обещав еще раз посетить Музей по возвращении в него коллекций с Парижской выставки.

Вспоминая эту краткую, но сообщившую всем нам большую уверенность в правоту творимого нами дела, беседу,

становится стыдно лично за себя, что не делал раньше никаких попыток, чтобы познакомиться с многогранной чуткой душой, с аналитически мыслящим глубоким умом ушедшего от нас товарища и начальника, становится стыдно за свой глупый страх показаться скучным в своих объяснениях, человеку никогда небоявшемуся буден, человеку, который первый стал на защиту прав и должной оценки обезличенных мелких сотрудников, делающих свое маленькое, скучное, но необходимое в общем механизме государственной машины дело.

Одной беседы с Феликсом Эдмундовичем оказалось достаточным, чтобы влить бодрость и уверенность в работу художников, труд которых и до сего времени еще очень многими остается недооцененным, а подчас так и вовсе отрицается, как ненужный современности.

Так ли это — лучшим показателем является мнение Феликса Эдмундовича, всегда умевшего сплотить вокруг себя кадры полезных работников, становившихся под его руководством преданными своему делу.

А. Вольтер.

Библиотека
Института Ленина
В. К. П. (б.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие тов. И. С. Уншлихта	7
Н. Бухарин Феликс Дзержинский умер	10
А. Григорьев — Великий страж революции	15
К. Радек — Меч, молот и великий огонь	19
И. С. Уншлихт — На боевом посту	36
Тов. Дзержинский о себе	41
Л. С. Сосновский — Слушая радио	47
Евгений Кацман — „Как я рисовал Дзержинского“	57
А. Вольтер — Товарищ Дзержинский среди художников	71

40 к.

СКЛАД ИЗДАНИЯ
Из-во АХРР Москва
Петровка 17 пом 5
тел 2-50-45